

Холодно...

Холод — вот единственный проводник в мире теней и шорохов. Ни боль, ни страх — только холод. Такой пронзительный, такой живой, едва ли не живее ее самой. Открывать глаза страшно, не открывать — еще страшнее. Может, если решиться, стряхнуть с себя наваждение, то окажется, что все это — и холод, и до костей пробирающий ужас — всего лишь сон, игры подсознания. Нужно сделать над собой усилие, потому что в противном случае она так и останется в этом стылom чужом мире, так и не узнает, что же с ней случилось.

Ну же!

Глубокий вдох — легкие полны колючей пыли, в горле дерет и в носу щекотно. Выдох — вместе с облачком пара изо рта вырывается кашель, рассыпается эхом в гулком пространстве, белыми хлопьями оседает на голых, содранных в кровь коленках.

Не страшно. Ей совсем не страшно. Только холодно. Холод окутывает плечи вуалью, тянет остатки тепла из заледеневшего позвоночника, мурлычет что-то ласковое, отвлекает от главного.

Главное. Главное — понять, где она. Остальное потом.

Босые ноги — босые?! — касаются каменных плит, стылых, припорошенных не то пеплом, не то пылью. Это только сначала кажется, что вокруг тьма крошечная, а если присмотреться...

Черные стены щерятся глубокими трещинами. Низкий, нависающий над головой потолок в клочьях паутины. А еще запах, вернее, мешанина запахов: пыль, свечной воск, кровь и тлен...

И то, на чем она лежит — нет, уже сидит, — тоже не из обычной человеческой жизни. Под ладонью камень и пыль, и, кажется, наплывы свечного воска, а еще острые сколы, от которых пальцы тут же начинают кровоточить. Саркофаг, огромный каменный саркофаг, который вслед за остатками тепла каплю за каплей высасывает из нее, нечаянной жертвы, жизнь.

Хочется кричать, орать во весь голос, но вместо крика из горла вырывается лишь судорожный хрип. Щеки касается что-то невесомое, щекотное. Касается, а потом ныряет за ворот блузки.

Паук! Пауки, маленькие мохнатые твари. Их она боится больше, чем саркофагов, замкнутых пространств и холода, это то, что может заставить ее действовать.

От крика, на сей раз пронзительно громкого, по крышке саркофага бежит мелкая дрожь, с потолка планирует тканое облако паутины, а в темноте, там, куда не может пробиться скудный лунный свет, испуганно мечутся черные тени. Крысы?.. Летучие мыши?..

Не время гадать!

Липкие нити паутины хватают за голые лодыжки, мешают двигаться, но если сделать над собой еще одно, самое последнее усилие, то вот она — дверь, остается только руку протянуть...

За спиной кто-то двигается, кто-то большой, гораздо больше крысы или летучей мыши. И затылок немеет от чужого ледяного дыхания. Нет, не дыхания, порыва ветра! Нельзя верить в то, что в склепе есть еще кто-то живой. Или неживой...

Дверь тяжелая. Чтобы открыть ее, приходится навалиться всем телом, прижаться мокрой от слез щекой к шершавой, как наждачная бумага, поверхности.

Пронзительный скрип петель — и в лицо ударяет порыв ветра. Ветер пахнет снегом, сырой землей и отчего-то хризантемами. Он прошит непривычно ярким лунным светом. В свете этом надгробия и покосившиеся кресты кажутся ненастоящими, словно вырезанными из картона. А за спиной, в гулкой тишине старого склепа слышится едва различимый шепот:

— Анна...

День выдался не просто неудачным, а катастрофически неудачным, хотя начинался очень даже многообещающе. С самого утра позвонила Любаша и прокуренным баском гаркнула в трубку:

— Спишь, Алюшина? Не спи, царство небесное проспишь!

Анна, которая проснулась два часа назад и уже успела переделать все домашние дела, лишь пожалала плечами, потому что знала, спорить с Любашей — себе дороже.

Так уж повелось, что староста их группы Любовь Зима с самого первого дня знакомства взяла добровольное шефство над Анной Алюшиной, девкой деревенской, неразумной. Любашу нисколько не смущал тот факт, что девка деревенская, неразумная, была коренной горожанкой, а сама она приехала в областной центр из такого далекого далека, что название сразу и не вспомнишь. Любаша зрила в корень и мгновенно вычисляла в людях ту особенную, никак не связанную с пропиской принадлежность к яркому и переменчивому городскому миру. В Анне этой принадлежности не прослеживалось, зато имелась однокомнатная квартира, в которую Любаша на первом же курсе вселилась на правах лучшей подруги.

Сначала, правда, ни о какой особой дружбе речь не шла, и Любашей двигал исключительно

шкурный интерес: общежитие иногородним их институт не предоставлял, а снимать квартиру ей было не по карману, а тут Анна, по причине отъезда родителей в длительную заграничную командировку оставшаяся в одиночестве аж на тридцати квадратных метрах жилой площади. Ей же, девке неразумной, деревенской, наверное, страшно одной-то! Да и, что ни говори, вдвоем оно как-то сподручнее и веселее.

Любаша Анне так и заявила, добавив, что нечего жировать, когда лучшей подруге голодно, и холодно, и жить негде. Уже многим позже она созналась, что ни на что особенно не рассчитывала, потому что понимала, что такую дуру, которая согласится пустить к себе в дом чужого человека, еще нужно поискать. Анна же взяла и согласилась. И отнюдь не по доброте душевной, как до сих пор считала Любаша, а тоже из шкурного интереса. Ей, всю жизнь прожившей под опекой родителей, после их отъезда вдруг стало страшно и невыносимо тоскливо. Оказалось, что в свои неполные восемнадцать не умеет она ни вести хозяйство, ни готовить, ни с умом распоряжаться средствами, которые ежемесячно присылали из-за границы родители. А Любаша, несмотря на претенциозность и далеко идущие планы, была отменной хозяйкой: толковой, рачительной, знающей цену деньгам и умеющей найти им правильное применение.

Едва переехав к Анне, Любаша тут же отвадила соседа-алкаша, каждый день заглядывавшего за

«копеечкой в долг», добились не только моральной, но и материальной компенсации от соседки сверху, которая с завидным постоянством забывала закрывать кран в ванной и заливала Анну, отлупила кота Марьивановны, соседки по лестничной площадке, который повадился гадить под их дверь, обматерила саму Марьивановну, за избиение кота грозившуюся вызвать милицию и навести на них, вертихвосток окаянных, порчу, и в довершение завела дружбу с местной шпаной, которая раньше не давала Анне прохода, а теперь с молчаливой многозначительностью уступала дорогу. На все это у деятельной и энергичной Любаши ушло меньше недели. И столько же времени понадобилось Анне, чтобы понять, что сделку они совершили крайне удачную для обеих.

Если нужно было что-то сугубо материальное и практичное, на первый план выступала Любаша с ее просто невероятными пробивными способностями. Если вопрос касался тонких материй, пальма первенства переходила к Анне, потому что, несмотря на наглость, нахрапистость и мертвую хватку, была у Любаши ахиллесова пята: отношения с противоположным полом у нее либо не складывались, либо складывались, но ненадолго. Иногда ее, с виду независимую и разбитную, мог обидеть сущий пустяк, и тогда она надолго погружалась в пучину депрессий и самокопаний, и только Анне удавалось подобрать нужные слова, чтобы вернуть подругу к нормальной жизни. И кофе Анна варила такой, какой у Любаши

никогда не получался, а кофе Любаша любила едва ли не больше, чем коварных мужиков...

Вот такой у них получался симбиоз. Девушки быстро приноровились друг к другу и сами не заметили, как взаимная выгода переросла в крепкую дружбу. Вдвоем им удавалось неплохо выживать в бурном море студенческой жизни, и даже когда институтские годы остались позади, симбиоз этот никуда не исчез.

Любаша, со свойственной ей практичностью, плюнула на только что полученный диплом об окончании пединститута и устроилась секретарем-референтом в небольшую строительную компанию. Ей понадобилось меньше месяца, чтобы обаять директора фирмы, дядьку уже не молодого, но еще очень даже активного. Дядька был вдовый, и Любаша, которая, несмотря на свою разухабистость, имела твердые моральные принципы, с головой окунулась в очередное амурное приключение, не забыв при этом о личной выгоде. Не прошло и полгода, как директор фирмы, измученный горячим Любашиным темпераментом, поспешил от любовницы избавиться, а в память о «незабываемых мгновениях» пристроил ее в другую фирму уже на должность начальника отдела кадров. Так в свои неполных двадцать четыре Любаша успела окончательно разочароваться в мужиках, но сделать неплохую карьеру. Теперь, когда собственное будущее виделось ей ясным и незыблемым, а материальные проблемы отступили на второй план, Любаша взялась за Анну.

В отличие от подруги, Анна пошла трудиться по специальности — учителем биологии. Нельзя сказать, что работа совсем не приносила ей морального удовлетворения, но вот с руководством отношения не сложились с первого дня. Чем-то Анна не глянулась директорисе, причем до такой степени, что та даже не считала нужным скрывать свою неприязнь. И с каждым месяцем неприязнь эта все росла и росла, пока однажды Анна не выдержала и прямо в учительской не высказала директорисе все, что о ней думает. Получилось очень убедительно, но убедительность эта стоила девушке работы.

А Любаша ее необдуманный поступок одобрила и еще долго смеялась, когда Анна, краснея и заикаясь, описывала ей точный маршрут, по которому отправила ненавистную директорису. Маршрут был длинный и затейливый, а пункт прибытия циничную Любашу просто восхитил.

— Вот, Алюшина! — Подруга вытерла потекшую от смеха тушь. — Ведь умеешь, если захочешь. Моя школа! — Она заправила за ухо огненно-рыжий локон и выудила из пачки сигарету.

В крупных Любашиных пальцах сигарета казалась игрушечной и какой-то карикатурной. Наверное, сигара смотрелась бы в них выигрышнее, но Любаша любила именно сигареты и именно такие вот тонюсенькие.

— Ага, — Анна кивнула, рассеянно проследила за облачком дыма, которое пыталось превратиться в колечко, — из-за твоей школы я лиши-

лась своей.

— Не велика потеря! — Любаша взмахнула рукой, и почти готовое, почти идеально ровное дымное колечко снова стало унылым и бесформенным облачком. — Я, Алюшина, давно говорила — нечего тебе делать в этой школе. Это ж не работа, это ж каторга, к тому же плохо оплачиваемая.

— А у тебя есть хорошо оплачиваемая каторга? — поинтересовалась Анна. Последствия своих необдуманных действий она уже осознала и сейчас была готова на любое Любашино предложение, даже самое невероятное. — Ты что-то говорила про офис-менеджера.

— Жуть! — Любаша брезгливо поморщилась. — Поддай — принеси — пошла вон! Нет, не такой доли я желаю своей лучшей подруге. И к тому же ты ж, Алюшина, типичная училка, ты ж без этих своих деток загнешься.

Вообще-то, после года работы в школе, Анна была уже далеко не так уверена в том, что педагогика — ее единственное призвание, но спорить с подругой не стала, лишь молча кивнула в ответ.

— Репетиторство! — Любаша снова махнула рукой, и пепел с сигареты упал прямо в чашку с недопитым кофе. — Я тут узнавала на днях, репетиторство — это, оказывается, хлеб с маслом, а если повезет, то и с красной икрой.

— Там же, наверное, не все так просто? — Анна отодвинула в сторону чашку с припорошенным пеплом кофе, чтобы Любаша, не дай бог, не

хлебнула его в запале. — Рекомендательные письма и все такое.

— И что — все такое? — Подруга приподняла тонко выщипанные брови. — Это ж я троечница-недоучка, а у тебя красный диплом, если ты забыла. А рекомендательных писем я тебе сколько хочешь напишу и даже печати министерские на них поставлю. Веришь?

Анна несколько не сомневалась, что с Любаши станется найти и рекомендации, и печати, поэтому снова кивнула.

— Значит, решено! — Любаша все ж таки извернулась, с противоположного конца стола достала свой недопитый кофе, сделала большой глоток, ничуть не смутилась его вкусом, удовлетворенно поцокала языком и продолжила: — Хватит тебе, подруга, горбатиться на чужого дядю задарма, будешь горбатиться за хорошие бабки. А клиентов я тебе подгоню, можешь не сомневаться, дай только время.

Времени у безработной Анны теперь было сколько угодно. Главное — в ожидании обещанного бутерброда с красной икрой не протянуть с голодухи ноги, потому что, начитавшись умных книг по психологии, деньги, отложенные на черный день, она потратила на новое пальто. Умные книги по психологии обещали, что при таком подходе к жизни черный день не наступит никогда. Наверное, ошибались, черный день наступил, и встречала его Анна без гроша за душой, зато в новом пальто. Вот и думай, стакан наполовину

полон или наполовину пуст?..

Уже стоя на пороге Аниной квартиры, Любаша окинула подругу внимательным взглядом, тяжело вздохнула и сказала:

— Эх, Алюшина, мне б тебе еще мужика хорошего найти.

— Себе сначала найди, — усмехнулась Анна, подавая подруге шарфик.

— У меня мужики не ведутся. — Любашина улыбка была озорной и лишь самую малость грустной. — Хилые нынче мужики. Не могут совладать с моей харизмой. — Она бросила быстрый взгляд на свое отражение в зеркале и удовлетворенно кивнула. — Мне мужчинку нужно не лишь бы какого, — сказала мечтательно, — а такого, чтоб дыхание перехватывало и ноги подкашивались. Нет, Алюшина, я сначала тебя в хорошие руки пристрою, у тебя запросы поскромнее будут, а потом уже начну себе принца искать. А ты сама смотри не зевай, присматривайся там к папашкам своих учеников. Вдруг повезет, и папашка окажется разведенным или вдовым. Тут главное — мыслить позитивно!

Любаша ушла, оставив на память о себе запах сигаретного дыма и до одури сладких духов, а Анна отправилась на кухню, мыть посуду и мыслить позитивно.

Подруга, как и обещала, позвонила ровно через неделю и после вступления про царство небесное перешла к делу:

— Значит, так, Алюшина, нашла я тебе перво-

го клиента. Пацаненок, говорят, debil дебилом, но родители у него состоятельные, хотят чадо пристроить в медицинский, но найти репетитора никак не могут.

— Это еще почему? — осторожно поинтересовалась Анна.

— Я ж говорю: недоросль — пацаненок дебиловатый, в голове всякая дребедень, не уживается с ним ни один репетитор.

— А я уживусь?

— А ты, Алюшина, у нас образец политкорректности и человеколюбия, ты с любым уживешься. — Любаша на мгновение умолкла, а потом, наверное, вспомнив причину, по которой Анну уволили из школы, добавила: — Ну, или почти с любым. Я вот как себе это представляю: твоя задача — поделиться знаниями, а все остальное тебя не касается. Пришла, отбарабанила программу, похвалила недоросля за внимание, забрала денежки и ушла.

— А институт? Родители же на институт нацелились.

— Какой институт, Алюшина?! — Голос Любаша завибрировал от возмущения. — Не твои это проблемы! У предков твоего будущего подопечного столько бабок, что их кровиночка даже в МГИМО без проблем поступит.

— Тогда я им зачем?

— Так для приличия! Чтобы никто не говорил потом, что кровиночка — debil и в медицинский по благу попал, чтобы думали, что он за ум

взялся, что пахал и готовился. Ай, Алюшина, не те вопросы задаешь. Ты бы лучше поинтересовалась, сколько тебе денежек за недоросля отвалят.

Анна спросила. Причем спросила с большим энтузиазмом, потому что в кошельке уже давно было пусто, и в отсутствие денег даже новое пальто совершенно не грело душу. Пальто не грело, а вот Любашин ответ согрел моментально и даже примирил с недорослем. Как же так может быть, что несколько занятий с одним мальчишкой стоили больше ее месячного оклада? Где же справедливость?

— Фирма веников не вяжет! — ответила на невысказанный вопрос Любаша. — Если честно, я сама чуть было не решилась пойти в репетиторы, уж больно заманчиво. Тебе таких недорослей еще штук пять — и бутерброд с икрой обеспечен. Только есть один нюанс, — подруга на мгновение замолчала, — тут ситуация такая: у нашего недоросля очень плотный график, готовится мальчик к поступлению в престижный вуз, сама понимаешь. Так что придется тебе к нему ездить вечером. Начало в половине девятого, но район хороший, спокойный и автобусная остановка рядом. Сейчас пока темновато, но весна ведь, темнеет с каждым днем все позже, потерпеть всего ничего осталось. Давай, Алюшина, соглашайся. Первое занятие уже сегодня, клиенты не желают терять время.

Анна согласилась. За что и поплатилась тем же вечером...

Во внешнем мире творилось что-то страшное: ветер швырял в окна горсти ледяной крошки вперемешку с обломанными ветками, выл так пронзительно и заунывно, что Громову самому захотелось завывать — от вынужденного безделья, от выматывающего ожидания, а еще от осознания бессмысленности предстоящего. Он бы и завыл, наверное, если бы не Хельга.

Хельга сидела в кресле для посетителей. В руке, затянутой в лайковую перчатку, был зажат черный мундштук с едва тлеющей сигаретой. Сколько Громов знал Хельгу, она всегда, в любую погоду и в любое время года, носила перчатки. Она вообще являлась образцом постоянства. Перчатки, мундштук из эбонитово-черного дерева, тонкие сигаретки, название которых Громов все никак не мог запомнить, безупречные в своей красоте и простоте украшения, элегантные брючные костюмы. Всегда брючные, Громов ни разу не видел Хельгу в юбке, как ни разу не видел ее без макияжа и прически. Женщина от кончиков волос до кончиков ногтей! Кажется, так отозвался о ней однажды Васька Гальяно, а Гальяно знает в женщинах толк. Или думает, что знает? Громов никогда не пытался изучать тонкости Васькиной души. Ему бы с собственной душой разобраться, или вот — с Хельгой.

— Нервничаешь? — Хельга сделала глубокую затяжку, выдохнула сизое облачко, которое

тут же устремилось к некурящему, ведущему исключительно здоровый образ жизни Громову.

— Пустая затея. — Он отмахнулся от облачка и невольно поежился под направленным на него пристальным взглядом таких же черных, как и мундштук, Хельгиных глаз. — Вы посмотрите, что на улице творится! В такую погоду хороший хозяин собаку на двор не выгонит. Она не придет.

— Придет, Стас. Я тебе обещаю. — Хельга качнула головой, и к удушающему табачному облачку добавилось еще одно — ладанное.

Духами Хельга пользовалась всегда одними и теми же, такими же необычными и интригующими, как и она сама. Торжественный ладан в обрамлении чуть привядших припорошенных не то пылью, не то пеплом лилий. В запахе этом Громову чудилась то свежая могила, усыпанная цветами, то заброшенная, затянутая паутиной церковь. Он не знал ни одной женщины, которая могла бы носить эти странные духи с тем же изяществом и достоинством, что и Хельга. Он даже думал, что духи эти безымянные, эксклюзивные, сделанные на заказ для нее одной, но Хельга его разочаровала.

У запаха, который верным псом крутился вокруг ее тонких запястий, было имя — «Passage d'Enfer»¹. Удивительное название, очень даже подходящее Хельге с ее любовью к ночным про-

¹ «Дорога в ад» — перевод с французского.

гулкам, тайнам и старым кладбищам. Однажды, повинувшись какому-то неясному порыву, Громов даже зашел в парфюмерный бутик, чтобы удостовериться, что «Passage d'Enfer» — не сказка, а самая настоящая реальность. Захотелось увидеть флакон этого пыльно-ладанного чуда, почувствовать запах вне его хозяйки.

Реальность Громова разочаровала. Окруженный стайкой девочек-консультанток, снисходительно-вежливых, удивленно поглядывающих на его потертую «косуху», он взял в руки заветный многогранный флакончик и даже позволил одной из девочек брызнуть его содержимое себе на запястье. Увы, чуда не случилось. Без Хельги запах оставался всего лишь запахом — странным, но неживым. Никаких могил и заброшенных церквей. Просто запах...

Из бутика Громов ушел раздосадованный, в полной уверенности, что Хельга его провела, но духи все-таки купил, даже не пожалел за них тех неоправданно больших денег, что были указаны на ценнике, и иногда особо темными бессонными ночами вдыхал пыльно-ладанный аромат, стараясь представить себе тот храм, где может пахнуть вот так... обреченно. И это он — закоренелый безбожник, за свои двадцать семь лет ни разу в жизни не переступивший порог церкви...

— Уже скоро, мой мальчик. — Хельга бросила взгляд на настенные часы, которые показывали без пяти минут полночь, аккуратно положила

мундштук с недокуренной сигаретой на край пепельницы. — Надеюсь, ты готов?

— Я? — Громов в раздражении пожал плечами.

Обращение «мой мальчик» его нервировало. Даже странно, потому что Хельге он мог позволить и не такое, потому что, несмотря на породистое, очень красивое, лишенное признаков возраста лицо и безупречную фигуру, она была явно немолода и годилась Громову в матери, а иногда ему казалось, что и в бабушки, но эту крамольную мысль он от себя тут же прогонял, потому что представить такую необычную женщину, как Хельга, бабушкой казалось кощунством. Вот уже десять лет Хельга оставалась для него идиолом, женщиной, лишенной возраста и недостатков, и его это вполне устраивало.

— А что тут готовиться? — Он обвел взглядом рабочий стол и кушетку, задумчиво посмотрел на свои руки. — Я всегда готов, осталось дожидаться клиента.

— Клиентку, — поправила Хельга с мягкой улыбкой. — Стас, мы ждем гостю.

Гостю... Громов никогда не рискнул бы сказать это вслух, но затея Хельги казалась ему полнейшим бредом, как и то, что ему, возможно, предстояло совершить. Ох, пусть бы Хельга хоть раз в жизни оказалась неправа, и эта чертова гостя вообще не пришла. Потому что одно дело сопровождать неугомонную Хельгу во всяких там рискованных предприятиях, и совсем дру-

гое — стать участником ее забав. Оно, конечно, интересно и весьма ответственно. Такое задание — это большой шаг вверх по иерархической лестнице, это явное доказательство доверия со стороны Хельги, но уж больно все странно...

Размышления прервало мелодичное треньканье — это ожили, наверное, от сквозняка, висящие над дверью китайские колокольчики. Колокольчики недели две назад притащил Гальяно. Безо всякого разрешения повесил. Мол, что салону нужен хороший фэн-шуй, и колокольчики, которые Гальяно с придыханием называл музыкой ветра, этот самый фэн-шуй непременно обеспечат. Он еще порывался было переставить стол Громова к окну, «под хорошие водные звезды», но Громов воспротивился, сказал, что ему и под плохими звездами нормально работается. Наверное, в отместку неугомонный Гальяно пришпандорил над кушеткой красную тряпицу с намалеванным на ней золотым иероглифом, символизирующим богатство и процветание. И теперь это безобразие своей цыганской яркостью и китайской непонятностью портило Громову настроение. Он несколько раз собирался избавиться от ненужного подарка, но в последний момент останавливался, понимая, что Гальяно может смертельно обидеться. А смертельно обиженный Гальяно — это стихийное бедствие, пострашнее того, что сейчас творилось за окном.

Колокольчики тренькнули еще раз, уже намного громче, и бронзовая дверная ручка бес-

шумно повернулась. Начинается! Громов вопросительно посмотрел на Хельгу. В ответ та лишь улыбнулась и пожала плечами. Для нее в предстоящем не было ничего необычного.

Дверь медленно отворилась, являя миру и вмиг подобравшемуся Громову ту самую гостью...

* * *

1889 год

Андрей Васильевич Сотников

– Барин! Барин! Да что ж вы спите все?! Извольте вставать, сами ж велели... – Скрипучий голос ворвался в сладчайший, полный приключений и блистательных интриг сон Андрея Васильевича Сотникова, оборвав тончайшую нить затеянного во сне расследования. – И Марья Тихоновна уже гневается, велела передать...

– Не нужно, – Андрей Васильевич приоткрыл один глаз, с невольной неприязнью посмотрел на топчущегося у порога Степку, – наперед знаю все, что Марья Тихоновна желает мне передать, за пятнадцать лет, чай, изучил супругу свою дражайшую.

– Одежу подавать? – гаркнул Степка, и Андрей Васильевич болезненно поморщился.

– Да не офи ты так! – замахал он руками на слугу. – Голова после вчерашнего раскалывается. Лучше б рассолу капустного принес, ирод.

– Так я вас вчера предупреждал, барин, что сегодня голова будет болеть, – неодобрительно покачал головой Степка. – Я ж потребности вашего организму получше вас самих знаю, нельзя вам столько-то шампанского пить, вы от шампанского делаетесь совсем негодящим. То ли дело наливочка вишневая...

– Каким, каким я делаюсь, Степан? Ну-ка повтори, песий потрох!

Андрей Васильевич хотел, чтобы вышло грозно, а получилось отчего-то жалобно. Да и Степка не испугался нисколечко, наоборот, подбоченился, глянул хитрым цыганским глазом и заявил:

– А и повторю! Кто ж окромя меня да Марьи Тихоновны вам правду скажет? Нельзя вам, барин, отраву эту заграничную пить, вы ж исконно русский человек, а туда же. Даже совестно как-то было перед слугами барона, когда я вас беспамятного на закорках к экипажу тащил. Одно спасение, что у барона слуги по-русски ни бельмеса не понимают и виршей ваших непотребных они не разобрали.

– Каких это виршей непотребных?..

От накатившего стыда даже голова болеть перестала. Сам-то Андрей Васильевич прекрасно понимал, о каких виришах речь, баловался на досуге стихосложением, даже две оды хвалебные написал: одну в честь губернатора, а вторую в честь губернаторской дочки Олимпиады Павловны. Первую-то оду не от сердца писал, а чтобы выделиться, зато вторую... Уж больно Олимпиада Павловна – барышня завлекательная, куда до нее Марье Тихоновне... Да не о том, видать, речь. От од хвалебных покраснеть мог разве что сам

Андрей Васильевич, потому как тонкой своей душой чувствовал, что сфальшивил, не дотянул. А вот коли он по пьяной лавочке на приеме у барона удумал свои скабрёзные стишки декламировать – то это точно позор... Ну, не то чтобы стишки совсем уж скабрёзные, в сугубо мужской компании, может, даже и уместные некоторой своей пикантностью, но при дамах... Ох ты, Господи...

– Да тех виршей, в коих вы перси и ланиты некой прекрасной нимфы воспевать изволили, – сказал Степка и торопливо перекрестился.

– И кто слышал? – с замиранием сердца спросил Андрей Васильевич.

– Так только я и слышал. Вы как в позу свою поэтическую встали и глаза к потолку закатили, я так сразу и понял, что сейчас вирши начнете читать. Это еще хорошо, если про природу, но уж больно настрой у вас был извивый, да и Марья Тихоновна серчать начала. Одним словом, вывел я вас из салону. Да вы не извольте гневаться, барин, – Степка хитро сощурился, – я предлог выдумал весьма благодородный.

– Какой, позволь поинтересоваться? – От сердца отлегло. Хоть Степка тот еще жук, но о феноме хозяйском очень даже печется.

– Сказал, что к вам курьер с письмом государственной важности и что дело не терпит отлагательств.

– Так уж и государственной важности? – усмехнулся Андрей Васильевич и со стоном уселся в кровати. – Это ж какое такое неотложное дело могло у меня приключиться?

Хоть Андрей Васильевич и почитал свою профес-

сию передовой и благородной, но на жизненные реалии смотрел трезво. Журналистская карьера его не сложилась, не такой доли он себе желал, еще будучи безусым юнцом, грезил не о том, что станет слагать оды губернаторской дочке да строчить бессмысленные статейки в губернскую газетенку. Видел он себя корреспондентом уважаемого столичного издания, и никоим разом не разленившимся светским хроникером, а деятельным и отважным борцом с преступностью, ведущим собственные расследования и на страницах газеты разоблачающим самых опасных преступников. Да, видать, не судьба...

Может, и сбылись бы мечты, может, и покати-лась бы его жизнь по другой дорожке, если бы пятнадцать лет назад он не встретил в салоне одной весьма известной московской дамы свою будущую супругу. Только тогда, пятнадцать лет назад, была она не круглолицей, раздавшейся вширь после четырех родов унылой матроной, а прелестнейшим цветком, у которого и перси, и ланиты – все, как грезилось молодому Андрею Васильевичу. Видать, на ту пору в людях он еще разбирался не слишком хорошо, потому как не разглядел в юной и безо всякого повода краснеющей Марии диктаторских замашек, каких нынче с избытком у Марьи Тихоновны. Зато разглядел золотые швейцарские часы у ее папеньки, и сюртук его из английской шерсти тоже разглядел, да и доходами у знающих людей поинтересовался. Что уж теперь самому себе-то врать?! Может, швейцарские часы, английский сюртук да немалое приданое его пленили посильнее персей и ланит. И не стыдно ему в том признаваться, потому как, кто

нищеты в малолетстве хлебнул полной мерой, всеми силами будет рваться из этой мутной трясины безнадёжности.

Андрей Васильевич вырвался, да вот беда – прямоком угодил в другую трясины. Та, другая трясины, имевалась скукой, она неспешно обтекала Андрея Васильевича мутными своими водами, время от времени взрывалась едкими болотными газами и засасывала, засасывала... Он и пить-то начал исключительно из скуки. Так душа его нежная и тонко чувствующая протестовала против той спокойной и унылой жизни, на которую он себя совершенно добровольно обрек. И работа, которую и работой-то назвать никак нельзя, не приносила никакого морального удовлетворения. Теперь Андрей Васильевич все чаще задавался вопросом, а не напрасно ли он променял голодную, но полную приключений жизнь в столице на сытую, но такую беспросветную жизнь в глуши...

– Так есть неотложное дело! – Степка снова дернул себя за ус. – Да еще какое дело, барин. Криминальное, как вы любите. В березовой роще, ну той, что за рекой, лиходеи человека убили. Да что там убили... – Степка перекрестился, – мужики говорят, живьем сожгли...

– Что ж ты молчал?! Сам ты, Степка, лиходеи! – Окончательно позабыв о похмелье и головной боли, Андрей Васильевич вскочил на ноги. – Как живьем?! Откуда такие сведения?

– Вестимо откуда, от Мишки, Вадим Сергеевича слуги. Его, Вадима Сергеевича, как раз на освидетельствование тела вызвали.

В груди что-то екнуло звонко и радостно. Нет,

не тому Андрей Васильевич радовался, что безвинного человека какой-то тать убил, а тому, что теперь непременно начнется расследование и не придется писать обо всяких не заслуживающих внимания светских глупостях, а можно будет целиком и полностью сосредоточиться на распутывании преступления. Андрей Васильевич посмотрел на Степку, велел:

– Иди, распорядись насчет экипажа, а я сейчас же! Нет, стой! Воды горячей принеси, побреюсь. А то как с небритой физией да на такое дело!

– Но Марья Тихоновна велела...

Договорить Степке Андрей Васильевич не позволил:

– Не твоя забота! С Марьей Тихоновной я как-нибудь сам разберусь.

Эх, до чего ж удачно все складывается! Вот, глядишь, и неприятного разговора с Мари удастся избежать, потому как у него – работа, задание! А задание – это то единственное, на что Мари пока еще не смеет посягать.

– Сюртук выходной подай! – крикнул Андрей Васильевич вслед Степке.

– Так не готов выходной-то! – Степка просунул косматую голову в дверь. – Вы ж его давеча шампанским залили, а рукав так и вовсе сигарой прожгли.

– Как прожге? – спросил Андрей Васильевич, в нетерпении прохаживаясь по комнате.

– Так барон угощал, – Степка пожал широкими плечами. – Я потом у вас в карманах непочатые сигары нашел, – добавил он с укороизной, – аж шесть штук.

– А не твое собачье дело! – огрызнулся Андрей Ва-

сильевич.

Вот ведь странные ужимки судьбы: про то, как вишни пикантные собирался декламировать, напроочь забыл, а про то, как из шкатулки красного дерева сигары горстью греб да по карманам рассовывал, помнит. Барон, кажется, этого конфуза не заметил, а если бы даже и заметил, так что ему, барону Максимилиану фон Виду, потому старинного австрийского рода, какие-то сигары! Барон мало того, что богат, как Крез, так еще и затейник, каких поискать. Всю округу взбаламутил своими чудачествами. Крестьян на Масленицу фейерверками до смерти перепугал, думали, конец света наступил. Да что крестьян! Автомобилем, из Германии выписанным, барон любил и почтенную публику познатиловать! Или вот, к слову, слуги... Прав Степка, в услужении у него почитай одни мавры. Молчат, глазюками своими черными зыркают, зубами белыми сверкают. Молчат-молчат, а те еще, видать, прохвосты, вон уже не первая девка родила мавритенка-то.

Но Андрей Васильевич ни барона, ни его мавров не осуждал нисколько. Как у старого поместья графа Изотова появился новый хозяин, так и сделалась жизнь в округе ярче и интереснее, а у самого Андрея Васильевича появилась пища для ума и прелюбопытнейшие материалы для статей. Он даже пить меньше стал, потому как боялся в алкогольном дурмане пропустить настоящее СОБЫТИЕ. А сердце, которое еще не зачерствело до конца от этого провинциального существования, нашептывало – случится СОБЫТИЕ, непременно случится! И тогда, даст

Бог, имя Андрея Сотникова прогремит на всю Россию-матушку!

Неужто случилось?..

* * *

Любаша не обманула: недоросль и в самом деле жил в очень хорошем районе, и от остановки его дом отделяло всего пять минут ходьбы. Анна поздоровалась с бабушкой-консьержкой, выдержала допрос с пристрастием и, взбежав по широкой лестнице на третий этаж, оказалась перед массивной железной дверью.

На звонок ответили не сразу, Анна уже почти решила, что никого нет дома, когда дверь бесшумно распахнулась.

— Добрый вечер, а мы уже вас заждались! — В утопающем в полумраке коридоре смутно виднелась фигура, судя по голосу, женская. — Это ведь вы Димочкин новый репетитор?

Не успела Анна ответить, как вспыхнул яркий свет, выхватив из темноты сухонькую, элегантно одетую пожилую женщину. Она смотрела на Анну поверх старомодных очков, и во взгляде ее читалось любопытство. — Ах, простите мою невежливость! — Женщина отступила на шаг, пропуская Анну в квартиру. — Я Ираида Павловна, домработница.

Домработница? Она не была похожа на домработницу. Чувствовалось в ее строгом и элегантном облике что-то неуловимо благородное,

никак не вяжущееся с представлением Анны о прислуге.

— Ну, может, домработница — это не слишком верная формулировка, — усмехнулась женщина, забирая у Анны пальто. — Наверное, точнее будет — друг семьи. Очень старый друг. — В уголках ее рта появились и тут же исчезли горькие складочки. — Мы были дружны с Лидией, бабушкой Димочки. К несчастью, Лидия очень рано покинула этот мир, и я помогала ее супругу присматривать за детьми. Дети давно выросли, да и Дмитрий Васильевич, Димочкин дедушка, уже десять лет как покоится с миром, а я вот прикипела. Только в статусе все время путаюсь. — Она снова улыбнулась, на сей раз безо всякой грусти, и добавила: — Хороша же я! Вместо того, чтобы угостить вас чаем с дороги, прямо с порога принялась излагать подробности своей биографии. Вы уж простите, Аннушка, старикам всегда не хватает общения. Так как насчет чая? Некрасиво себя хвалить, но я испекла просто замечательные эклеры.

Анна колебалась лишь мгновение. На дворе было совсем не по-весеннему холодно и промозгло, даже руки озябли без перчаток.

— Димочки все равно еще нет, — продолжала уговаривать Ираида Павловна. — У него сегодня занятия по математике, звонил, что придет минут через пятнадцать. Так что мы с вами как раз успеем выпить по чашечке чаю. Вы же мне о себе еще совсем ничего не рассказали, Аннушка. —

Женщина посмотрела на Анну поверх очков, во взгляде ее читалось вежливое любопытство. — Вы ведь недавно репетиторствовать начали?

— Недавно, — отрицать очевидное не было смысла. — До этого преподавала в школе, но обстоятельства...

— Обстоятельства. — Ираида Павловна кивнула, легонько тронула Анну за руку. — У всех у нас обстоятельства, Аннушка. Вам ведь о нашем Димочке еще не рассказывали толком ничего?

Еще как рассказывали! Недоросль, недоучка и сын богатых родителей — случай хоть и сложный, но очень хорошо оплачиваемый.

— Или рассказывали? — В голосе Ираиды Павловны прозвучала тревога.

— Кое-что. — Анна предпочла уйти от прямого ответа.

— А вы не верьте! Димочка — хороший мальчик, хороший и светлый. А странности... так у кого из нас в молодости не было странностей?

У Анны не было, но разубеждать Ираиду Павловну она не стала, послушно переобулась в предложенные нелепые розовые тапки, позволила увлечь себя в кухню.

— Вы уж извините, что я так по-свойски, не в гостиной, а тут. — Ираида Павловна накрывала на стол, на Анну старалась не смотреть. — Не люблю, когда официоз, да и уютнее тут.

На кухне, просторной, если не сказать огромной, и в самом деле было очень уютно, вкусно пахло специями и выпечкой. Анна сжала в ла-

донях толстостенную глиняную чашку, сделала осторожный глоток. Чай был щедро приправлен мятой и еще какими-то травками. Вкус у него оказался терпкий и тягучий, идеально подходящий к нежнейшим эклерам.

Она выпила полную чашку чая и, поддавшись уговорам гостеприимной хозяйки, съела целых три эклера, когда из прихожей послышался звук открывающейся двери.

— Димочка! — Ираида Павловна встрепенулась, торопливо встала из-за стола. — Сейчас, Аннушка, я вас познакомлю.

— С кем это ты собираешься меня знакомить, баба Ира? — На пороге кухни появился... надо думать, тот самый недоросль. Выглядел он так необычно, что Анне сразу стало понятно, почему Ираида Павловна пыталась убедить ее, что Димочка — добрый и светлый мальчик.

В недоросле Димочке доброты и света не чувствовалось ни на грамм, да и мальчиком его можно было назвать с большой натяжкой. Перед Анной стоял высокий, болезненно худой парень, с головы до ног одетый во все черное. Черный кожаный плащ, черные джинсы, черная водолазка, ботинки с высокой шнуровкой, массивные цепи на шее, кожаные браслеты на тонких запястьях, железный перстень в виде черепа, пирсинг на нижней губе. И даже его длинные волосы были иссиня-черными, наверняка крашенными.

Светлый мальчик Димочка смотрел на Анну

сверху вниз, и на его выразительном и картинно красивом лице читалась такая очевидная скука, что Анне вдруг стало обидно. Она взрослая и умная. Она учительница, в конце концов! А он стоит тут и пялится. Недоросль!

— Димочка, — Ираида Павловна, которую грубое и пошлое «баба Ира» должно было оскорбить, но, кажется, совсем не оскорбило, с нежностью поцеловала недоросля в бледную щеку. — Димочка, а это Анна Владимировна, твой репетитор по биологии. Тебе же нужно готовиться к институту, — добавила она заискивающе.

— Ясно, баба Ира. — Недоросль стащил плащ, швырнул его на пустующий стул, сам уселся напротив Анны, закинув ногу на ногу. На подошвы его ботинок налипли жирные комья грязи, а от порога до стола шла черная цепочка следов. — Что-то я не пойму, у маман закончились деньги? С чего бы это ей нанимать для меня такую... — он помолчал, подбирая правильное слово.

— Молодую? — закончила за него Анна.

— Я бы выразился более категорично. — Недоросль растянул губы в саркастической улыбке, обнажая белоснежные зубы. Теперь, когда он сидел всего в полуметре от Анны, стало очевидно, что глаза у него подведены, а кожа отнюдь не природного оттенка. Пудра и подводка... какой ужас. — Но, если вам будет так угодно... — Он отвернулся, потеряв к Анне всякий интерес, попросил Ираиду Павловну: — Баба Ира, ты бы мне тоже чаю налила, а то на улице

настоящая буря. Да и на кладбище холодина, замерз, как собака.

На кладбище? Вот оно что — ей достался в ученики не просто недоросль, а недоросль с готическим уклоном. Какая прелесть!

— Димочка, так ведь Анна Владимировна...

— Не Димочка, а Демос, — недоросль в раздражении дернул плечом, — баба Ира, ну сколько можно повторять?!

— Хорошо, Димочка. — Ираида Павловна покладисто кивнула. — Только, может, вы с Анной Владимировной сначала позанимаетесь? Время-то уже позднее.

— Анна Владимировна подождет. — Парень нагло ухмыльнулся и сцапал с подноса эклер. — Вы ведь подождете? — спросил с набитым ртом.

— Нет. — Анна тряхнула головой. — Занятия назначены на половину девятого, так что будьте любезны, — она бросила взгляд на часы и добавила не без злого умысла: — Дмитрий.

— Демос! — парень перестал улыбаться и побледнел очень даже натурально. — Меня зовут Демос!

— Да хоть Фобос. — Анна решительно встала из-за стола. — Моя задача — подготовить вас к поступлению в институт, а называть себя вы можете каким угодно именем. Ираида Павловна, не покажете, где нам лучше расположиться?

— Ты дура, да? — вдруг спросил недоросль. — Тебе ж бабки по-любому заплатят, так чего ты рыпаешься? Сиди, жри эклеры!

Анна была воспитанной девушкой, Любаша считала, что даже слишком хорошо воспитанной, но выпадали моменты, когда воспитание уходило на задний план, а на сцену, точно чертик из табакерки, выскакивала жгучая, необузданная ярость. И тогда воспитанная девочка Анна Алюшина переставала существовать, уступая место какой-то другой, совершенно незнакомой ей сущности. Случалось такое очень редко, но уж если случилось...

...Рука сама, помимо воли, потянулась к цепям на шее Димочки-Демоса, запуталась в холодных звеньях, с силой дернула вниз, вышибая из кадыкастого горла не то крик, не то шипение. Подведенные светло-голубые глаза теперь были совсем рядом, и в глазах этих читалось изумление пополам с чем-то непередаваемым.

— Жрать и рыпаться — это не те слова, которыми стоит изъясняться в присутствии женщин. — Собственный голос казался глухим и незнакомым, а кожа на ладони саднила от впившихся в нее цепей. — Вы меня понимаете, Дмитрий?

Вместо того чтобы ответить, парень дернулся с такой силой, что одна из цепей порвалась, оставляя на ладони Анны кровавую дорожку. Девушка разжала кулак, сложила руки на столе. Возбуждение, а вместе с ним и неконтролируемая ярость исчезли, голова сделалась пустой и звонкой. Первый трудовой день грозил оказаться последним.

— Господи, да что же это такое? — словно из-

далека донесся до нее голос Ираиды Павловны.

— Прошу прощения, плохой из меня репетитор. — Анна присела за стол, попыталась улыбнуться, но губы не слушались. — Я, наверное, пойду.

— Нормально все. — Димочка-Демос уселся рядом и, потирая шею, с интересом посмотрел на Анну. — Чай я могу и потом попить, пойдём... — он запнулся, — пойдёмте заниматься.

— У вас кровь. — Ираида Павловна протянула Анне полотенце. — Вот, вытрите. Или, может, нужно рану обработать?

— Нет никакой раны, — Анна мотнула головой, — спасибо за чай. Эклеры были просто замечательными.

— Я рада. — Губ женщины коснулась легкая, чуть недоуменная улыбка. — Давайте, я провожу вас в кабинет.

— Я сам провожу, баба Ира. — Демос перехватил запястье Анны, внимательно посмотрел на кровоточащую царапину, ноздри его при этом жадно затрепетали.

Глупый мальчишка, начитался всякой дребедени про вампиров, посмотрелся фильмов про нечисть и теперь ведет себя как городской сумасшедший.

— У нас мало времени. — Анна высвободила руку из холодных пальцев Демоса, сказала официальным тоном: — Давайте, наконец, приступим к занятиям.

Она была странной, эта его репетиторша. С виду типичная училка — белый верх, черный низ, пуговики на блузке застегнуты все до единой, никакого простора для фантазии, а на ногах дежурные плюшевые тапки с помпонами, которые баба Ира выдает всем приходящим училкам. Маман никогда не ходила по квартире в тапках, только в туфлях и только на каблуке. Маман считала домашнюю одежду дурновкусием, и баба Ира, кажется, ее в этом поддерживала, тапки в их доме предназначались только для гостей. Ну и еще для отца, который уже лет десять вел незримый бой с маман за право ходить дома в старых, почти до дыр протертых кожаных шлепанцах. А Демосу было все равно: полы ведь с подогревом, можно и босиком.

Он сразу, с первого взгляда, понял, что с этой новой репетиторшей можно не церемониться. Он хорошо разбирался в людях, что бы там ни говорили предки и баба Ира. Овца, что сидела на его кухне в дебильных розовых тапках, не заслуживала не то что уважения, даже внимания. Впрочем, как и все ее предшественницы.

Дура! Набитая дура, по дурости своей считающая, что может научить его хоть чему-нибудь. Его, у которого за плечами три года жизни в Лондоне, идеальное произношение и широкий, не ограниченный железными шорами кругозор. Вырядилась в убогие свои шмотки, волосенки

прилизала, завязала на макушке унылый и такой предсказуемый пучок и думает, что теперь ей, правильной и шаблонной до одури, все по зубам. Для завершения картины не хватает лишь очочков в тонюсенькой позолоченной оправе. И челка эта девчоночья до самых глаз совсем не в дугу. Челку могла бы тоже прилизать, чтобы не выбиваться из образа.

Баба Ира смотрела настороженно и просительно. Баба Ира, так же как и предки, искренне желала ему лучшей доли. И плевать им всем было на то, что для него, Демоса, лучшая доля — это отнюдь не медицинский институт, что есть в его жизни вещи куда интереснее и притягательнее, что плевать ему на всю эту людскую суету. И на бабенок, возомнивших себя училками, тоже плевать.

Как же он их всех ненавидел! Вот таких, правильных — черный низ, белый верх, самодовольных, ничего не смыслящих в смерти дур. Они появлялись в его жизни с удручающей регулярностью, и приходилось отвлекаться от главного, тратить силы и время на то, чтобы от них избавиться. Ничего, с этой будет легко. Эту можно сломать прямо сейчас, достаточно правильно подобранного слова.

Демос не любил хамство, но опыт подсказывал, что иногда именно хамство — самое надежное, самое безотказное средство, но на сей раз он ошибся. За внешностью безобидной овечки, за черно-белой униформой притаилась волчица.

Мало того, что притаилась, она даже осмелилась напасть.

Ему не было больно. Ну, лишь самую малость. Он смотрел на капельки крови, собирающиеся в тонкий ручеек в ложбинке ее ладони, и чувствовал себя так, словно кто-то, тот, кто не имел на это никакого права, вторгся в его владения. Да не кто-то, черт побери, а простая училка, девчонка, которая понятия не имеет, что он за существо, которая смеет брезгливо морщиться при виде его одежды, смеет издеваться, проливать собственную ничтожную кровь на его территории.

Испуганный вскрик бабы Иры привел Демоса в чувство, приглушил бушующую в сердце ярость. Она ведь не нарочно, эта репетиторша. У нее просто так вышло, получилось задеть его за живое, на мгновение, всего на долю секунды взять над ним, Демосом, верх. Ничего, он может повременить. Он проявит терпение и дождетя своего часа.

А училка оказалась не такой уж и глупой. Несмотря на молодость, она знала свое дело и ни разу не попала в интеллектуальные капканы, расставленные для нее хитроумным Демосом. Так даже лучше. Интересно, когда противник — не безропотная жертва, когда он умеет показывать зубы и даже может пустить их в дело. Шею саднило в том месте, где по вине училки в кожу впились серебро цепи. Демосу приходилось делать над собой усилие, чтобы не касаться раны рукой, не показывать свою слабость.

Он слушал училку и украдкой, когда точно знал, что она не смотрит, изучал, пытался найти в ней ту необычность, которую чувствовал нутром, но которая так ловко пряталась за унылым черно-белым фасадом. Была у Демоса такая особенность: он мог держать под контролем сразу несколько дел. Отец в шутку называл его Юлием Цезарем, а сам Демос считал, что способен на гораздо большее, чем какой-то там Цезарь.

Демос с раннего детства жил с ярким и колющим, как иголка, чувством собственной исключительности. Его попеременно считали то вундеркиндом, то олигофреном. В три года Демос умел читать, в четыре выучил таблицу умножения, и его сразу записали в гении, а в пять он решил, что жизнь — скучная штука, и замолчал на год. Это был забавный год: врачи, детские психологи, консультации, слезы маман, невыплаканное горе бабы Иры и хмурая озадаченность отца. А еще Демоса, как ставшего вдруг бесперспективным и умственно отсталым, выгнали из элитного детского сада, предложив родителям взамен направление в спецсад для детей с особенностями психики. О, это был не только забавный, но и едва ли не лучший год в его жизни! На целый год единственными воспитателями Демоса стали книги и баба Ира.

В их доме не водились детские книжки, так его ли вина, что к шести он знал наизусть всего Шекспира, цитировал библию и разбирался в сотнях вещей, в которых смог бы разобраться

далеко не всякий взрослый?! Да, в шесть Демос снова заговорил, цитатой из Ветхого Завета до икоты напугав маман, доведя бабу Иру до слез умиления, а отца заставив надолго задуматься.

В школу Демоса отдали в неполных семь лет, в очень престижную, очень специальную и дорогую школу. Он с блеском прошел вступительные экзамены, со снисходительной улыбкой выслушал восторженные ахи и охи от учителей и снова ушел в себя.

Причина была до боли банальна: со сверстниками, глупыми и суетливыми, Демосу оказалось невыносимо скучно, его непохожесть на других вдруг стала бросаться в глаза. Его оскорбляли, обзывали глупыми словами, отвлекали от спасительной самопогруженности тычками и затрепинами. Здесь, в школе, его способности и одаренность никого не волновали. Здесь обращали внимание не на содержимое, а на обертку. И Демос сменил обертку.

Маман была несказанно рада, когда единственный сын вдруг начал проявлять интерес к тому миру, который был ей дорог и близок, к миру вещей. Импортные шмотки, крутые прищипки и навороченные дивайсы — теперь Демос научился разбираться и в таких глупых, ненужных на первый взгляд вещах. Конечно, можно было пойти другим путем. Можно было, как однажды робко, с оглядкой на маман предложил отец, заняться спортом и показать обидчикам, чего он стоит. Но спорт — это слишком грубо,

слишком утомительно и неизящно. Манипулировать человеческими страстями и слабостями гораздо интереснее, чем калечить физические оболочки.

Демос очень быстро стал непревзойденным манипулятором, всего за пару месяцев из лузера превратился в лидера. Теперь к его голосу прислушивались, в его глаза заглядывали, его мнением дорожили. А он, добившись своего, снова заскучал.

Когда Демосу исполнилось тринадцать, отцу, к тому времени снискавшему славу ученого с мировым именем, предложили работу в Лондоне, и Демос снова оказался в новой для себя среде.

Англию он полюбил всем сердцем: за туманы, за веками копившуюся в старых стенах мрачную унылость, за необычное соседство прогресса и анахронизма. А еще за то, что Англия подарила ему знакомство с Пилатом...

Пилат был русским, но не из тех русских, которые праздными туристами шатаются по улицам Лондона, и не из тех, которые прикупили себе в городе особняки, квартиры, студии, успешно ассимилировали и со сдержанной, истинно английской снисходительностью посматривали на своих менее удачливых соотечественников. Пилат не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он был особенный. Демос, который особенность и необычность чувствовал нутром, определил это сразу, с одного взгляда. И дело здесь было

не во внешних проявлениях, на улицах Лондона Демос видал и не таких фриков. Пилат, казалось, жил вне жизни. Он был сам по себе, а жизнь обтекала его мутным потоком, не рискуя коснуться даже рукава его черного-черного кожаного плаща, испуганно шарахаясь в сторону под взглядом его пронзительных, тоже черных-черных глаз.

А Демос не шарахнулся, не попытался отвести взгляд, уступить дорогу или торопливо перейти на другую сторону улицы. Он замер прямо на пути этого высокого, грозного, одетого во все черное человека, давая понять, что тоже особенный, только еще не нашедший своего места в мире. И Пилат это понял. Ему хватило одного взгляда, одного вскользь брошенного слова, чтобы над стенами неприступной крепости, в которую Демос упрятал свой хрупкий внутренний мир, зареял белый флаг.

Пилат был не просто особенным, не просто гением, не просто королем готтов. Пилат стал для Демоса Учителем. Они общались урывками, но достаточно регулярно. У Пилата в Лондоне был какой-то личный интерес. Настолько сильный, что заставлял его прилетать из России едва ли не еженедельно. Однажды Демос попытался проследить за ним, но тут же оказался пойман с поличным. Пилат не ругался и не упрекал, он просто рассказал о доверии, о том, как важно человеку иметь внутреннее пространство, и как ему может быть больно, когда в это пространство грубо вторгаются посторонние, и Демос вдруг все

понял. Наверное, потому, что свое собственное внутреннее пространство он охранял с такой же точно тщательностью.

Следующий вечер Пилат посвятил исключительно Демосу. Прогулки по сонным лондонским пригородам, звенящая тишина заброшенных склепов и старых кладбищ, запах ладана и прелых осенних листьев, ветер в лицо и полные неизъяснимой тоски стихи. Пилат умел ценить и воспевать не только смерть, но и жизнь. Он учил Демосу гармонии и балансу, хотя по горькому выражению его собственного лица было очевидно, что гармония недостижима, а баланс уже давно сместился в сторону смерти. Демос чувствовал этот надлом и считал его единственно верным. Ему не нравилось слово «гармония», ему хотелось скользить по самому краю вместе с Пилатом. Он даже одеваться стал так же — во все черное, и темно-русые от рождения волосы перекрасил в черный цвет. У маман случилась истерика и нервный срыв, а Пилат не оценил, Пилат снова завел разговор о гармонии.

Он исчез из жизни Демоса внезапно, и исчезновением своим еще раз доказал, что смерть куда как привлекательнее жизни. Тело Пилата выловили из Темзы, мертвое тело, оболочку освободившейся от серости души. Об этом много писали в газетах: Пилат не был обычным готом, он был особенным и очень влиятельным, настолько влиятельным, что его уход не остался незамеченным. Вокруг его смерти ходило много слухов, по-

лиция рассматривала все возможные варианты, начиная с предумышленного убийства и заканчивая несчастным случаем, и только Демос точно знал, что Пилат всех обманул, из двух зол, жизни и смерти, выбрал самое красивое и гармоничное.

Демос рвался в Россию, чтобы проститься с Пилатом, проводить единственного друга до незримой черты, за которой начинается та самая гармония, но родители непустили. Он вернулся на родину только спустя несколько лет, целый месяц потратил на поиски могилы Пилата и нашел-таки.

Кладбище старое, заброшенное, с разграбленной часовней и с кряжистыми липами над позабытыми могилами. Могила Пилата тоже была позабыта. Почти. На влажном от осеннего дождя надгробии лежали белые лилии, пожухшие, но все еще цепляющиеся за жизнь, дисгармоничные. Демос не знал, что им двигало, но из мстительного мальчишеского чувства он смахнул лилии с надгробия.

С тех пор Демос стал частым гостем на старом кладбище, теперь он приходил сюда на правах званого гостя, изучал надписи на надгробиях, бродил между древних, с землей сровнявшихся могил, прислушивался к тревожному шелесту вековых лип, искал и никак не находил свою собственную гармонию.

А родители желали ему другой доли и не хотели даже выслушать. Демос попробовал уйти из дома, но его нашли на следующий же день. Мама

рыдала, называла его бесчувственным подонком, отец по старой своей привычке отмалчивался, но хмурился все чаще, а у бабы Иры стало совсем плохо с сердцем. Тогда Демос поклялся, что больше никогда не сбежит, но вечерами стал пропадать на кладбище. Учебу он тоже забросил, и маман тут же наняла свору репетиторов. И вот сейчас одна из этой своры, нервно барабаня тонкими пальцами по столешнице, спрашивала, доходчиво ли она объясняет. Демосу пришлось вынырнуть из воспоминаний и повторить слово в слово все, сказанное училкой. Александр Македонский...

Время, отведенное на занятия, пролетело быстро. Демос проводил училку до двери, помог надеть пальто и даже поинтересовался, не нужен ли ей провожатый. От сопровождения училка отказалась с вежливой и совсем не искренней улыбкой, из чего Демос сделал вывод, что его самого она боится куда больше, чем абстрактных хулиганов. Факт этот оказался для него неожиданно приятным, и в жизни его, в последнее время унылой и беспросветной, снова забрезжил огонек интереса. Неправ был Пилат — миром движет не гармония, а страх...

* * *

...И ровно в двенадцать карета превратится в тыкву, а бальное платье в лохмотья...

Громов смотрел на ночную гостью во все глаза и глазам своим не верил. Девчонка выгляде-

ла даже не странно, а из ряда вон. Без верхней одежды — и это в такое-то ненастье! — босиком, в порванных на коленках колготках, в разорванной по боковому шву юбке и заляпанной чем-то подозрительно похожим на кровь блузке. Рассмотреть лицо Громову никак не удавалось, потому что оно было занавешено длинными каштановыми волосами. Девчонка стояла, не решаясь переступить порог, и в распахнутую настежь дверь врывались порывы ветра.

— Ну что же вы, деточка, там стоите?! — Хельгу, казалось, внешний вид гостьи ничуть не смутил, она неспешно встала из кресла, сделала шаг навстречу незнакомке. — Входите, входите! И, будьте любезны, прикройте за собой дверь.

Может, гостья была не совсем невменяемой, а может, это голос Хельги подействовал на нее так успокаивающе, только она послушно переступила порог, не без усилий захлопнула дверь и присела на верхней из шести ведущих вниз ступенек. Громов нехотая подумал, что, если верить Гальяно, расположение комнаты ниже уровня земли — это очень плохой фэн-шуй, не сулящий ее обитателям ничего хорошего. Может, и прав был Гальяно со своим фэн-шумом? Назвать гостью вестницей счастья не поворачивался язык. Зато кожа между лопатками вдруг зачесалась невыносимо сильно — верный признак грядущих неприятностей.

— Что-то стряслось, дорогая? — Хельга с легкостью преодолела ступеньки, присела рядом с девчонкой. — На вас напали?

— Напали? — Девчонка смахнула с лица влажные волосы, и в это самое мгновение Громов понял, что никакая она не незнакомка. Он даже имя ее мог вспомнить. Анята, вот как ее зовут. И живет она в том самом доме, в котором когда-то в детстве жил Громов, работает не то училкой, не то секретаршей, существует себе тихо и незаметно. Это как же ее угораздило-то?

— Вы выглядите несколько странно. — Хельга провела затянутой в перчатку ладонью по волосам гостя, довольно улыбнулась каким-то своим, недоступным простому смертному мыслям. — Согласитесь, ночью, в такую жуткую погоду, без пальто...

— Я плохо помню. — Несчастливая девочка Анята подтянула к подбородку расцарапанные коленки и, затравленно оглянувшись по сторонам, торопливо одернула юбку.

Громова она, похоже, не узнала. От двери стол, за которым он сидел, просматривался очень плохо, но Громову вдруг захотелось с головой нырнуть под этот самый стол. Не готов он был к тому, что происходило, не готов. Одно дело — какая-нибудь абстрактная тетка. Абстрактную тетку не так жалко. И совсем другое — вот эта, с детства знакомая девчонка.

— Я вышла из автобуса, уже хотела идти домой, и на меня... кажется, на меня действительно напали. Что-то прижали к лицу, и я отключилась... — Девочка Анята всхлипнула и положила ладони на коленки, пытаясь прикрыть ими дыры на колготках.

Напали! Ясное дело — напали! На Громова вдруг накатила волна злости. А что она хотела?! Думала, можно шастать по такому вот полубандитскому району посреди ночи, и чтобы не напали?!

— А дальше что? Почему вы без пальто и без обуви? — Хельга всматривалась в лицо гостьи едва ли не внимательнее самого Громова. Наверное, решала, не ошиблось ли провидение с выбором жертвы. Если бы спросили Громова, он бы не задумываясь заявил, что очень даже ошиблось. Ну какая из этой дурехи приманка?! То есть приманка как раз очень даже неплохая, великолепная, можно сказать, приманка, но до чего же жалко...

— Тут кладбище недалеко. — Девчонка говорила, а зубы ее выстукивали барабанную дробь.

Громов окинул взглядом свои владения в поисках чего-нибудь, что можно было бы на нее набросить. Выходило, что нечего. Ну разве что старую куртку. Только вот жалко куртку, черт возьми, едва ли не больше жалко, чем эту несчастную дуру.

— Стас, — Хельга сделала знак рукой, — ну что же ты сидишь? Не видишь, девочке холодно?! Предложи ей что-нибудь теплое и кофе сварь. У тебя же еще остался кофе?

— Только растворимый, — буркнул Громов, вставая из-за стола и в раздражении сдергивая с вешалки куртку. — Растворимый пойдет? — Он старался оставаться в тени, до последнего надеялся, что Хельга передумает и девчонка так и не узнает, к кому ее занесло.

— Вы же пьете растворимый кофе, милая? — Хельга приобняла девчонку за плечи и, не дожидаясь ответа, продолжила: — Не нужно вам тут сидеть на сквозняке, давайте-ка спускайтесь в салон. Вон видите кушетку? Присядьте пока там.

Девчонка послушно исполнила все инструкции, не глядя в сторону Громова, уселась на кушетку. Ступни ее были разбиты в кровь и оставляли на полу грязно-бурые следы. Громов мысленно чертыхнулся, а потом бочком, так, чтобы гостя не смогла рассмотреть его лица, протиснулся в крошечную подсобку, где у них с Гальяно хранились запасы кофе, коньяка и шоколада. Теперь, находясь вне поля зрения Хельги и девчонки, он позволил себе расслабиться.

— Дорогая, у вас в волосах паутина. — Голос Хельги был успокаивающий, едва ли не усыпляющий. — Вас где-то заперли?

— На кладбище. — А вот в голосе девчонки явно слышались истеричные нотки.

На кладбище?! Громов едва не выронил банку с кофе. Интересное кино!

— Я пришла в себя на кладбище, в каком-то склепе, — девчонка всхлипнула и на пару секунд замолчала. — Одна. Никого рядом не было. Никого живого, — добавила она вдруг шепотом.

— А кто был? — спросила Хельга, и голос ее завибрировал от нетерпения.

— Не знаю, мне показалось, что кто-то там все-таки был, что кто-то звал меня по имени.

— Я ведь так и не спросила, как вас зовут.

— Анна. Меня зовут Анна Алюшина, я возвращалась домой от ученика и вот...

— То есть кто-то, кого вы не смогли разглядеть, звал вас по имени? — По приглушенному цоканью каблучков стало ясно, что Хельга в нетерпении прохаживается по салону.

— Мне так показалось. И потом мне все время мерещилось, что за мной кто-то гонится. Я не стала оглядываться.

Кстати, разумное решение, потому что вполне вероятно, что ей бы очень не понравился преследователь. Громов насыпал в большую чашку кофе, немного подумал и добавил сахара. И уже после того, как плеснул кипятка, достал из кармана джинсов пузырек. Жидкость в пузырьке была чуть мутноватой и слегка опалесцировала в скудном свете подсобки. Хельга сказала — тридцати капель должно хватить, у Громова не было причин сомневаться в ее словах, просто рука дрогнула и теперь он не рискнул бы сказать наверняка, сколько именно капель попало в кофе. Можно было бы подстраховаться и добавить еще, только кто его знает, что это за капли и что случится от их передозировки. Пусть уж лучше так.

— Вы простите, что я к вам так поздно. До моего дома еще очень далеко, и только в ваших окнах горел свет. Я сейчас уйду...

— Ай, какие глупости, моя девочка! — Громов не мог видеть Хельгу, но по голосу слышал, что она улыбается. — Куда же вы пойдете в таком

виде? Кстати, где ваша одежда? С вами не случилось ничего... ничего плохого?

Ага, правильный вопрос! Что делал с этой дурехой тот урод, который притащил ее на старое кладбище? Колготки хоть и порваны, но все же на месте, и пуговицы на блузке целы. Громов специально посмотрел, просто так, для развития наблюдательности. А что кровь... ну так она могла и сопротивляться или напороться в темноте на что-нибудь острое.

— Не знаю. — Девчонка всхлипнула, а потом добавила, впрочем, не очень уверенно: — Кажется, со мной все в порядке.

Кажется ей! А что, точно определить никак нельзя? Громов все тянул, не решался выйти из подсобки. Вот не хотелось ему, чтобы девчонка его узнала. Потому что если узнает, то проблемы у него появятся наверняка.

Наверное, Хельга прочла его мысли или, руководствуясь своей просто нечеловеческой проницательностью, догадалась, что по каким-то причинам Громов не хочет светиться, потому что всего через мгновение он услышал ее голос:

— Аннушка, вы тут посидите пока, а я схожу за кофе. И набросьте куртку, а то вы ведь совсем окоченели.

Громов вздохнул с облегчением, поставил чашку с кофе на пластмассовый поднос, подумал немного и положил рядом не доеденную Гальяно плитку шоколада. Женщины в стрессе любят сладкое. А эта непутевая точно в стрессе...

— Стас, что-то не так? — послышался за спиной шепот Хельги. Умела она приближаться неслышно. — Ты думаешь, эта девочка может тебя запомнить? Не волнуйся, после моих капель она не вспомнит ничего из того, что с ней случится.

У него не было повода сомневаться в словах Хельги, она не ошибалась в прогнозах еще ни разу, но тут ведь такое дело... Громов решился:

— Эта ваша гостья — она моя соседка. В одном дворе жили, понимаете? И отношения у нас с ней...

— Между вами что-то было? — Голос Хельги пошел трещинами, как раскаленная на солнце глина.

— Между нами? Да вы что?! Пересекались пару раз, и все. Вы же сами говорили, что она должна быть девственницей.

Кстати, сколько ей? Года двадцать два? Непростительно долгий срок для непорочности.

— Так и есть. — Голос Хельги стал прежним, спокойным, уверенным. — Стас, ты еще многого не понимаешь, но эта девочка особенная. Теперь вся надежда только на нее одну.

— А нельзя найти какую-нибудь другую особенную девочку? — спросил Громов без особой надежды. — Эта какая-то уж больно ненадежная.

— Не нам с тобой решать. Он уже здесь, ты ведь слышал. Мы просто не можем оставаться в стороне. Давай я сама отнесу кофе. Ты сделал все, как мы договорились?

Громов молча кивнул.

— Значит, через десять минут она будет в твоём распоряжении. Ты успеешь до рассвета?

— Можно подумать, у меня есть выбор, — буркнул Громов себе под нос.

Хельга ласково потрепала его по щеке, сказала с грустной улыбкой:

— Мальчик мой, увы, не мы выбираем себе предназначение. Я позову тебя, когда капли подействуют.

Капли подействовали ровно через десять минут, Громов специально засекал время. Хельга не стала заходить в подсобку, сказала, не повышая голоса:

— Стас, можешь приступать.

Он вернулся в салон, осмотрелся. Девчонка сидела на кушетке, притулившись спиной к стене. Лицо ее снова занавешивали распущенные волосы. Хельга была права — в волосах запуталась паутина, очень много паутины. Да, похоже, про кладбище и склеп — абсолютная правда. Хотя лучше бы врал...

По салону поплыл сигаретный дым: Хельга закурила. Не говоря ни слова, Громов стащил с Анны свою куртку, осторожно уложил девчонку на кушетку, под голову сунул шерстяной валик, который за каким-то чертом притащил в салон Гальяно, принялся расстегивать пуговицы на шелковой блузке.

Кто только не лежал на этой вот кушетке: и матерые мужики, и разбитные девахи, и даже пару раз степенные с виду матроны, но все они,

в отличие от полуночной гостьи, оказывались во власти Громова по собственной воле. Работать с ними бывало не всегда легко, иногда Громов даже жалел, что не может использовать наркоз, а сейчас вот, когда в руки ему попала практически идеальная клиентка, безропотная и неподвижная, растерялся. Нельзя сказать, что его смутило полуголое девичье тело, видал он тела и поинтереснее, и пообнаженнее, просто вдруг стало страшно, что одно неловкое движение может испортить такой неплохой в принципе материал.

Чтобы собраться с мыслями и немного прийти в себя, Громов вернулся к рабочему столу, к стоящим на нем в ряд баночкам и склянкам с пигментом. Времени было в обрез, а ему еще предстояло определиться с цветом. Решение пришло само собой, как это обычно с Громовым и случалось. Черный и красный, черного больше, красного меньше. Этого достаточно. Пестроцветие здесь ни к чему. К тому же это позволит сэкономить время, которого и так в обрез. Громов закатал рукава рубашки, натянул на руки стерильные перчатки, потянулся за банкой с черным пигментом.

— Стас, не забудь вот это. — Хельга по старой своей привычке подошла бесшумно и теперь стояла прямо у Громова за спиной, в руке она держала хрустальный флакон, на дне которого было что-то серое. Громов знал, что это такое, и от знания этого желудок сводило злой судорогой, а руки совершенно независимо от него начинали

подрагивать. — Осторожно, мой мальчик, — голос Хельги упал до едва различимого шепота, а рука в черной перчатке, кажется, тоже дрогнула, — это последний.

Громов тяжело вздохнул, решительно забрал у Хельги флакон, высыпал его содержимое в баночку с пигментом, аккуратно взболтал.

— Я готов, — сказал, не оборачиваясь.

— Приступай. — Ноздри пощекотал аромат Хельгиных духов. — Я очень на тебя рассчитываю. Мы все на тебя рассчитываем...

* * *

Ей опять было холодно...

Холодно, а еще жестко и неудобно.

— ...Эх, такая молодая, а до чего себя довела! — Злой голос прорвался в ее холодный и жесткий мир, а затем последовал весьма ощутимый тычок в бок. — Вставай! Разлеглась тута, понимаешь, голяком! Ни стыда, ни совести! А ну, вставай, а то милицию вызову!

Голос жужжал и жужжал, и тычки сыпались один за другим. Анна застонала и открыла глаза. Над головой ярким оранжевым шаром висел фонарь, с голых ветвей каштана ветер прямо ей в лицо стряхивал холодные капли дождя. Вокруг было темно, стыло и бесприютно.

— Очухалась? — Фонарь и ветви заслонило широкое и круглое, как масленичный блин, лицо: ноздреватая кожа, бородавка на мясистом носу,